

Бабушкин сервиз для чужой женщины



Рен Вольский

**Бабушкин сервис
для чужой женщины**

«Автор»

2026

Вольский Р.

Бабушкин сервиз для чужой женщины / Р. Вольский — «Автор», 2026

Осенью в подмосковной квартире 80-летняя Вера Петровна после болезни объявляет старшей дочери Нине, что обещала квартиру соседке Тамаре Ивановне. Нина скрывает семейные долги и рассчитывает сохранить имущество для сына и внуков; Лариса приезжает из другого города, намереваясь продать дачу и начать новую жизнь. Письмо отца, чеки Тамары, признание Нины, вторая записка и найденный Ларисой документ последовательно меняют смысл прежних обвинений. Тамара раскрывает, что когда-то помогла Вере пережить серьёзную семейную беду, а Вера признаётся, что воспринимает многолетнюю помощь дочерей как заботу, начавшуюся слишком поздно и слишком тесно связанную с наследством. После испытательного дня на даче Вера оглашает решение: Тамара получает не всю квартиру, а то, что было ей действительно обещано; судьба остальных ценностей определяется отдельно. Дочери сохраняют возможность восстановить отношения, но не получают полного морального оправдания.

© Вольский Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Сервиз в буфете	5
Письмо и чеки	9
Дача, которую нельзя делить	13
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Рен Вольский

Бабушкин сервиз для чужой женщины

Сервиз в буфете

Тамара Ивановна позвонила в половине восьмого утра: Вера Петровна третий день не выходит за хлебом и велела никому не сообщать. Трубка легла, расписание автобусов открылось само, и в одиннадцать Нина уже сидела у окна с сумками в ногах, чтобы успеть к четырём.

Автобус высадил её у поликлиники, и дальше она пошла пешком, потому что такси до Советской улицы стоило как две банки варенья на рынке, а варенье она везла с собой.

Сумки резали ладони. В левой — тапочки с подшитой задней частью, шерстяная кофта, две пары колгот, литровая банка малинового, обёрнутая старой наволочкой. В правой всё остальное: зарядка, зубная щётка в пакете из-под хлеба, коробка с глюкометром, которую она схватила со стола в собственной прихожей, не проверив, есть ли там ещё тест-полоски.

Гравий на дорожке у третьего подъезда рассыпался под подошвами. Каблук съехал, банка в сумке качнулась и толкнула в бедро тупым холодным боком. Наволочка сползла. Ноги разошлись шире, шаг стал тяжёлым, грузным, враскачку.

Код домофона набрался с третьей попытки. Четвёрка проваливалась.

На площадке второго этажа пахло подгоревшим молоком. На третьем — яблоками: кто сушил их на газетах прямо на подоконнике, нарезанными кружками, и мухи сидели на сладких срезах, не двигаясь, приклеенные к сахару.

Мать открыла сама.

Это сбило Нину с первой заготовленной реплики. Ожидалась Тамара Ивановна в дверях, полутёмная прихожая, голос из комнаты. Вместо этого в проёме стояла Вера Петровна, в халате с запахом, держась одной рукой за наличник, и дверную цепочку с той стороны уже успели снять.

— Долго ты, — сказала мать. — Я суп сняла двадцать минут назад.

— Автобус.

Сумки встали в прихожей, у плинтуса. Нина выпрямилась медленно, по частям: сначала спина, потом шея. В левой ладони остался белый жёлоб от ручки, и этот жёлоб наливался малиновым.

Квартира держала свой запах: старое дерево, нагретая пыль, ещё что-то лекарственное. В большой комнате на буфете лежал косой октябрьский свет, и в этом свете было видно, что пластинка полировки у левой дверцы отслоилась и приподнялась заусенцем.

На кухонном столе стояла чашка с чаем, остывшим до того состояния, когда сверху уже лежит плёнка. Рядом — вскрытая коробка, блистеры с выдавленными лунками. Нина пересчитала лунки, не прикасаясь. Семь выдавлено, одна целая. Значит, вчерашнюю не приняла.

— Ты вечернюю пропустила.

— Я приняла. Я сама их из коробки вынимаю и кладу под чашку, чтобы помнить.

Под чашкой ничего не лежало.

Из комнаты донёсся звон. Тонкий, короткий, фарфор о фарфор — такой звук получается, когда предмет снимают с другого предмета и ставят на скатерть.

Верхняя кофта осталась на плечах. Нина прошла туда.

Буфет был открыт. Обе створки, и за ними — нижняя полка, где с тех пор, как Нина себя помнила, стоял бабушкин сервиз с золотым ободком, сложенный пирамидами: двенадцать тарелок, двенадцать блюдец, чашки гнездом. Теперь пирамида была разобрана. На журналь-

ном столике — супница, молочник, четыре блюда веером. Мать опускалась к нижней полке, держась за створку, и створка под её весом слегка отходила.

— Не трогай сервиз, Ниночка.

— Я не трогаю. Ты его трогаешь, стоя на одной ноге.

— Я стою на двух.

Локоть подхватил материнский локоть, и три шага до кресла прошли в четыре. Плед сполз; Нина подняла его, встряхнула, и в воздух поднялась пыль, видимая только в полосе света. Пыль покружилась и села обратно на плед.

— Он теперь не тебе и не Ларисе, — сказала мать.

Блюдец она уже держала на коленях. Одно, с золотым ободком, стёртым до серого в том месте, где по нему много лет возили ложкой.

— В каком смысле не нам.

— В том, в котором говорю. Сервиз Тамаре Ивановне. И квартира Тамаре Ивановне. Я обещала.

В окне, на внешнем отливе, лежал мокрый клён. Один лист прилип к стеклу изнутри подоконника, между рамами, и там же, между рамами, с лета оставалась муха, высохшая, с подвёрнутыми лапками. Лапки, серая изнанка крыла, пыльная кромка штапика — это держало взгляд, пока мать не перестала отводить свой; молчание растянулось, и ответ не находился.

— Квартира, — повторила Нина.

— Да.

— Эту квартиру отец получал двадцать лет.

— Семнадцать.

Стул напротив, не диван. Со стула было видно и мать, и прихожую.

— Мама. Когда ты это обещала?

— Я не вела протокол.

— До больницы или после?

— И до. И после.

— Это два разных ответа.

Мать поставила блюдец на подлокотник. Фарфор звякнул о деревянную накладку, и Нина перехватила его и переставила на столик — машинально, как переставляет чужую кружку человек, двадцать девять лет выдающий книги и расставляющий их обратно по номерам.

— Ты понимаешь, что бывают люди, которые садятся к старому человеку близко и говорят с ним каждый день, и через год старый человек уже говорит их словами?

— Понимаю. Я такое видела в сорок девятой квартире.

— И?

— И это не про меня.

— Мама, ты болела. У тебя была температура тридцать девять четыре дня.

— Четыре дня была. — Взгляд матери лёг на дочь ровно, без дрожи, без поиска. — Сейчас ноябрь скоро. Ты считаешь, я четыре дня в сентябре должна предъявлять как справку о том, что я больше ничего не решаю?

В замке щёлкнуло.

Поворот головы к прихожей — и там, уже внутри, уже в тапках, Тамара Ивановна с двумя пакетами и ключом в руке. Ключ ушёл в карман куртки открыто, на весу, без заслона ладонью.

— Вера Петровна, творог взяла пятипроцентный, девятипроцентного не было. — Пакеты пошли на кухню, в холодильник, по местам, известным ей лучше, чем Нине: творог на вторую полку, кефир в дверцу, батон в хлебницу над мойкой. — Ниночка, здравствуй. Я думала, ты к семи.

— Я к четырём.

— Хорошо.

Из того же кармана вышел сложенный вчетверо лист, развернулся, лёг под ребро ладони на столешницу и остался плоским. Строчки шли столбиком, разными ручками, часть зачёркнута.

— Смеситель в ванной капает, я звонила Сергею из второго подъезда, он придёт в субботу, восемьсот рублей. Батарею в спальне надо спускать, воздух стоит. Талон к кардиологу на двенадцатое, в среду, но в среду я не могу, у меня внучка, поэтому надо переносить на четверг или кто-то поедет с ней.

— Я поеду, — сказала Нина.

Короткий взгляд в её сторону, без выражения. Шариковая ручка поставила галочку.

— Хорошо. Тогда я вычёркиваю.

От этого «хорошо» под коленями у Нины стало жарко, жар пошёл вверх, к горлу, и в горле сделалось тесно, и каждый вдох приходилось продавливать в два приёма. Готов был другой разговор, в котором Тамара перечисляет: я ношу, я вызываю, я вожу, я, я, я. Под такое перечисление есть слова. А тут ставились галочки, и пока лист складывался обратно, в сгибе мелькнули цифры с рублями, столбцами, за годы, и ни одна из них не была произнесена вслух.

— Тамара Ивановна. Мама говорит, что обещала вам квартиру.

Рука с листом остановилась.

— Говорит, — сказала Тамара.

— А вы что говорите?

— Я говорю, что творог пятипроцентный.

— Это не ответ.

— Это всё, что я собираюсь обсуждать у неё на кухне. — Куртка, спущенная с одного плеча и так и не снятая до конца, села на место. — Вера Петровна, суп в кастрюле, не грейте весь, отлейте в ковшик.

Лист с галочками остался на столешнице, прижатый солонкой. Тамара вышла в прихожую, не застёгиваясь, и в дверях сказала в комнату, что придёт утром за посудой. Дверь закрылась. На вешалке качнулся и затих пустой капюшон чужой кофты.

В комнате мать сидела всё так же, и блюдо снова лежало у неё на коленях — дотянулась сама, пока на кухне говорили о твороге.

— Ты её выгнать хотела, — сказала Вера Петровна.

— Я хотела понять.

— Ты хотела понять, в своём ли я уме, и посмотрела для этого на таблетки, на буфет и на мои ноги. Я видела, как ты лунки считала.

Ответа не нашлось. В тишине было слышно, как в ванной падает капля — раз в четыре секунды, в пластмассовый тазик.

— Одна целая. Потому что вторую я разломил пополам, Ниночка, мне доктор велел половину утром и половину вечером, и половинку я кладу в солонку, потому что иначе она теряется.

На кухне, в солонке с отбитым углом, под крупной серой солью, лежала половинка таблетки.

Тишина легла сразу. Не красивая — в ней слышно было, как холодильник на кухне берёт ток рывками, и каждые сорок секунд этот рывок шёл по полу, по ножке стула, в ступню.

— Я не отдам квартиру, — сказала Нина. — Там мой сын, там дети.

— Там я.

— Мама.

— Я не умерла, Нина. Я из этой квартиры ещё сама выношу мусор по четвергам.

Сервиз пошёл обратно в буфет. Супница на место, молочник за супницу, блюда столбиком — восемь, девять, десять, одиннадцать. Фарфор был холодный и тяжелее, чем выглядел.

На донце одного, с внутренней стороны, обнаружилась коричневая трещинка-волосок, и палец сам пошёл по ней туда и обратно, проверяя, проходит ли насквозь.

Одно блюдце не влезло. Пирамида стояла ровно, а последнее оставалось в руке, и трижды его удавалось посадить сверху, и трижды оно сползло.

— Положи рядом, — сказала мать. — Там всегда одиннадцать в столбик входило. Двенадцатое бабушка на окно ставила.

Двенадцатое легло рядом. Створку прикрыла, придерживав отслоившуюся полировку большим пальцем, чтобы не отломить совсем.

Поезд на Москву шёл в двадцать двадцать. Тапочки привезены, варенье привезено, этого должно было хватить до следующего раза. Вместо вокзала — диван в большой комнате, под буфетом, простыня поверх продавленного валика, и сама она легла на покрывало в кофте: батарея в спальне стояла с воздухом, а здесь термометр у окна показывал шестнадцать.

Телефон зазвонил в четверть двенадцатого. Лариса. Голос приходил с эхом, с подъездным гулом, с отзвуком бетона.

— Не спишь? Я у себя на антресолях разбирала. Там папина коробка с документами, я её с переезда не открывала.

— И?

— Нин, там письмо. Папиной рукой, на тетрадном листе, сложенное. Похоже, не мне и не тебе.

Нина села. Покрывало под ней собралось в жёсткий ком.

— Кому?

— Не подписано. Но там про долг. Там прямо написано: «долг, который нельзя отдавать детям». — Лариса замолчала, и в паузе слышно было её дыхание через нос. — Нин. Я думаю, это про квартиру.

За стеной скрипнула панцирная сетка. Потом шаги, медленные, в прихожую, щелчок выключателя, вода в кране — мать набирала себе на ночь, в ту же чашку с плёнкой.

— Привези, — сказала Нина. — Привези сама, не фотографируй.

Письмо и чеки

Лариса приехала из другого города на машине, в двенадцатом часу, после четырёх с лишним часов трассы и двух заправок, и запах в прихожей сразу сделался другой: бензин, дорожная пыль, духи с горьким верхом. Куртку она не сняла — бросила на вешалку сверху, на ту самую кофту Тамары, и капюшон опять качнулся.

— Где она?

— Спит. Говори тише.

Конверт она вытащила из внутреннего кармана куртки — тот самый, что неделю назад нашёлся в отцовской коробке с документами, под стопкой квитанций за семьдесят девятый год, когда разбирали антресоль. Конверт лёг на кухонный стол между солонкой и хлебницей. Жёлтый, с бурым пятном у клапана, с той мягкостью бумаги, которая бывает у документов, сорок лет пролежавших в коробке под антресольным теплом. Угол протёрся до ворса.

Нина пододвинула его к себе двумя пальцами, за самую кромку. Так берут формуляр с осыпающимся корешком. Чайник щёлкнул и начал набирать гул.

— Читала?

— В машине на заправке. Два раза. — Лариса села, не расстегнувшись, развела колени, упёрлась локтями. Под ногтем большого пальца у неё была чёрная полоска от чего-то машинного. — Нин, это она. Соседка. Двадцать лет она тут ходит. Сначала хлеб, потом талоны, потом ключ в карман — и вот уже квартира.

— Ключ я видела. Она его не спрятала.

— Тем хуже. Значит, уже не считает нужным.

Чайник вышел на пик и сорвался в щелчок, и у Нины свело пальцы на кромке конверта, а в правом ухе осталось тонкое давление, не уходившее ещё секунду. Две чашки, заварка из банки, в которой ложка стояла сама. Конверт лежал между сёстрами, и каждая время от времени придерживала его пальцем — поручень в трясущемся автобусе, общий на двоих.

План сложился быстро и легко, на двух чашках, по мерке людей, двадцать лет не разговаривавших дольше четверти часа: вызвать её сюда, спросить прямо, посмотреть в лицо. Обе развернули табурет для гостыи к окну, под свет, и сели напротив.

Тамара пришла через девять минут после звонка, с хлебом, потому что всё равно шла в булочную, и поставила батон в хлебницу над мойкой прежде, чем кто-либо успел сказать первое слово.

— Тамара Ивановна, сядьте.

— Я постою.

— Сядьте.

Села она на угловой табурет, тот, который качается. Нагнулась, нашарила под мойкой спичечный коробок — он там и лежал — и подложила под короткую ногу. Три секунды. У Ларисы под левым глазом дёрнулась жилка, и ладонь накрыла её.

— Мы хотим понять, за что вам квартира.

— Понятно.

— И всё?

— Я сказала: понятно. Вы хотите понять. — Пальцы Тамары лежали на коленях плоско, прижатые к ткани. — Я вам покажу. — Лариса подалась вперёд, Нина перестала мигать; обе смотрели в одну точку на её переносице, не сходя с неё. — Но потом вы отсюда выйдете и скажете: это она нарочно собирала, чтобы предъявить. Так всегда говорят.

— Покажите.

Хлопнула её дверь напротив, через площадку заскрипел ящик. Вернулась она с общей тетрадью в клетку, в обёртке из обоев, и с полиэтиленовым пакетом, полным чеков. Тетрадь легла на стол. Пакет сел рядом с сухим шелестом — мелкая стружка, осыпаящаяся в ведро.

— Открывайте сами. Я трогать не буду, чтобы потом не говорили.

Нина открыла. Первая страница — другая ручка, другой почерк, более твёрдый: цифры шли столбиком с датами, и даты начинались не прошлой осенью. Девятый год. «12.03 — молоко, творог, батон — 214». «19.03 — валидол, Вере, 38». «02.04 — Сергей, кран на кухне, 600 (отдала своих)».

Лист перевернулся. Второй, третий. Поликлиника — девять поездок за один год, с номерами талонов и фамилией врача. Такси в дождь, двести восемьдесят. Рубероид на дачную крышу, две тысячи четыреста, в скобках: «В.П. не говорила, а то расстроится».

Палец сам пошёл по строке, не разум — палец, с подведением итога под каждым годом. Так ищут недостачу в инвентарной описи, по номерам. Двадцать девять лет выдачи книг оставляют в человеке именно это: умение отличить живую опись от сочинённой вечером задним числом. Чернила здесь менялись каждые несколько строк. Были зачёркивания с переносом на следующую строку. На одной странице жирно расплылось от капли воды, и буквы расплзлись в обе стороны от неё.

Такую тетрадь нельзя написать за одну неделю.

— Это ничего не доказывает, — сказала Лариса. Но полтона уже ушло из голоса, и чашку она взяла не свою, и отпила из чужой, и не заметила.

— Это доказывает рубероид, — сказала Тамара. — Больше я ничего не обещала доказать.

— Тут нет мамы. Нигде нет: обещала квартиру.

— И не будет. Она мне этого на бумажке не писала.

— То есть ничего нет?

— Есть рубероид.

В пакете чеки лежали пачками, перехваченными аптечными резинками, и часть выпвела до слепоты — термобумага за восемь лет отдаёт всё. Одну пачку Лариса вытряхнула на стол, перебрала, и бумажки липли к её ладони, к той самой чёрной полоске под ногтем.

— Сто рублей, двести, восемьдесят четыре... Тамара Ивановна, это же копейки. За копейки — трёхкомнатную?

— За копейки. Каждую среду. Девять лет.

Из комнаты раздался стук в стену — два раза, костяшкой, не сильно. Мать слушала давно.

— Несите сюда ваше письмо, — сказал её голос. — Я не глухая и не в соседнем городе.

В комнате сели так: Вера Петровна в кресле, плед на коленях, Нина на стуле, Лариса на диване под буфетом, Тамара в проёме, не входя, плечом к наличнику.

Лист вышел из сумки медленно. Тетрадный, в линейку, сложенный вчетверо, и по сгибам он уже не сгибался, а переламывался, с мелкой бумажной крошкой на стыках. Почерк отца шёл наклонно, с нажимом на нижних петлях.

— «...и если со мной что-нибудь случится раньше, чем я успею, то помни: это долг, который нельзя отдавать детям. Ни рублём, ни квартирой. Я сам влез, я сам и вылезу, а если не вылезу — лучше пусть останется на мне. Только не трогай Нину и Лару. Они ни при чём, они даже не знают...»

Дальше лист был оборван — не разрезан, а оборван поперёк, с зубчатым краем, и обрыв проходил посередине строки, оставив от следующего слова две буквы: «То».

Тишина в комнате стояла плотная и неподвижная. Между рамами высохшая муха так и лежала с подвёрнутыми лапками, а за стеклом по мокрому клёну катилась вода, и каждая капля на срезе ветки висела, набирала и падала, и в этом был единственный ритм.

— Вот, — сказала Нина. — Отец прямо запретил. Нельзя отдавать детям. Он знал, что ты можешь нас обойти, и просил не трогать.

— Он просил не трогать? — Лариса подняла голову. — Нин, он пишет, что это его долг. Он кается. «Я сам влез».

— Он пишет: не трогай Нину и Лару.

— В смысле: не вешайте на них. Это не про наследство, это про то, что он что-то сделал.

— Что он сделал?

Молчание матери тянулось долго — руки её лежали поверх пледа, и на левой, под кожей, вздулась и медленно опустилась жилка.

— Я не буду сегодня объяснять, — сказала Вера Петровна.

— Мама.

— Вы принесли полстраницы из двадцати лет и хотите, чтобы я по этим полстраницы отчиталась. Вторая половина где?

— Оборвана.

— Вот и всё, что вы знаете.

— Тогда скажи, кому оно написано, — сказала Лариса. — Обращения нет. Тут «помни».

— Кому «помни»?

— Он так и соседу по гаражу писал. «Помни». — Плед сдвинулся на коленях и лёг обратно. — Я эту бумагу вижу первый раз.

— Значит, кому?

— Значит, не знаю.

— А «То»?

— Я не вижу отсюда, — ответила мать, и глаза её при этом смотрели ровно на оборванный край, с расстояния в полтора метра, не мигая.

В проёме переставился вес с одной ноги на другую, и наличник под плечом Тамары скрипнул.

— Я скажу одно, — произнесла она. — Вы обе думаете, что я пришла, когда она заболела. Я пришла в две тысячи третьем. Когда он ещё был жив.

Чашка в руках Ларисы наклонилась, и чай перешёл через край на колено, на джинсы, тёмным пятном с рваным контуром. Пятно осталось нетронутым. Свободная ладонь легла сверху, на мокрую горячую ткань над коленом, и осталась там, не отдёрнувшись, пока джинсы не остыли.

— Это неправда.

— Проверь. В тетради первая запись — девятый год, потому что раньше я не писала. А ходить я начала при нём. Спроси у неё.

— Тетрадь мы перепишем, — сказала Нина. — Все годы, все суммы. И чеки по датам.

— И третий год, — добавила Лариса. — Кто её тут видел в третьем году. Соседи, Сергей, поликлиника. И письмо: когда написано, кому, где вторая половина.

— Пишите, — сказала Тамара от наличника. — Я никуда не уезжаю.

Ни «да», ни «нет» не прозвучало. Блюдце с золотым ободком поднялось с подлокотника, повернулось к свету тем боком, где ложка вытерла золото до серого, и встало обратно на то же влажное кольцо.

В кухне капало. Та же капля в пластмассовый тазик, раз в четыре секунды, и Сергей из второго подъезда должен был прийти в субботу.

Говорить в квартире было негде, и сёстры вышли на площадку. С подоконника третьего этажа тянуло яблоками, перезрелыми, с тем спиртовым привкусом, который садится на язык сам, без укуса; мухи на сладких срезах по-прежнему сидели неподвижно.

— Я не знала про третий год, — сказала Лариса.

— И я.

— Я вообще, выходит, ничего не знаю. Приехала с бумажкой и думала, что тут всё разложу.

Сигарета зажглась с третьей спички, ветром тянуло из разбитого окна. Две затяжки, и фильтр вмялся в бетонный подоконник, не догорев: бычок остался стоять смятым столбиком, дым выходил из него ровной ниткой.

— Дачу надо продавать, — сказала она. — Пока осень, пока хоть кто-то смотрит. Сиделка — сорок в месяц, Нин. Ты считала? Тамарины двести рублей в среду — это пока она ходит. А если не будет ходить?

— Дача обещана Косте.

— Костя там был последний раз когда?

— Это неважно.

— Это важнее всего остального. — Слова шли на выдохе, сухими короткими толчками, и между ними не оставалось места для воздуха. — Весной её не продашь. Март — ноль покупателей. Значит, или сейчас, или мы два года платим из воздуха. Крышу, кстати, кто крыл? Вот этим рубероидом за две четыреста.

— Я верну ей две четыреста.

— Да при чём тут...

Дверь квартиры была приоткрыта на ладонь. В прихожей, держась одной рукой за наличник, в халате с запахом, стояла Вера Петровна. Вес весь ушёл на правую ногу и уже ею не управлялся, колено мелко уходило внутрь и возвращалось — значит, стояла давно.

— Дачу я вам не отдам ни продавать, ни обещать, — сказала она. — Ни Косте, ни покупателю.

— Мама, иди лечь.

— Лягу. — Пальцы разжались, наличник остался пустым, спина разогнулась коротким толчком от крестца, и халат сошёлся ровно, запах на запах. — Но сначала вы обе поняли: она моя. Пока я жива, она моя, и крыша на ней чужая, и я ещё решу, чьей она будет.

Створка пошла за ней внутрь. Внизу, в пролёте, кто-то тащил санки по бетону, железом по железу, и звук шёл вверх по шахте долго, до самой крыши.

Дача, которую нельзя делить

Октябрьский свет не греет стекло, а выдаёт на нём пыль — ровным серым налётом по всей нижней трети окна. На кухне ноутбук стоял на хлебнице: столешница под ним качалась. Лариса листала фотографии участка, снятые в июне позапрошлого года, — сирень, пустая бочка у калитки.

— Четыре объявления в радиусе двух километров, — сказала она. — Одно висит с мая. Одно сняли в августе, за два девятьсот. Участок там меньше нашего на сотку, дом хуже.

— Ты уже и цену нашла.

— Я нашла, за сколько уходит. Это разные вещи, Нин.

Чайник не включали. Вода шла из-под крана с железным привкусом, который в этом доме стоял всегда и к которому привыкали к третьему дню; Лариса пила стоя, пригнувшись к струе, и капли сели на ключицу.

За хлебницей, прижатый солонкой, лежал Тамарин список с галочками. Солонка ушла в сторону, лист выскользнул, и рядом легли два счёта за одну зиму: ноутбук с фотографиями июня и листок со столбиком дел на ноябрь.

— Сиделка — сорок в месяц. Лекарства — восемь-девять в месяц, я по чекам смотрела. Памперсы, если дойдёт, — ещё. Это почти шестьсот тысяч в год, и это оптимистично. У неё на счетах сколько?

— В её бумаги я не залезала.

— Ты живёшь тут неделю.

— Я не смотрела её счета.

Твёрдости в этих словах хватило ровно на то, чтобы Лариса подняла глаза. Под ногтем у неё темнела полоска, и большой палец пошёл по ней, стирая, стирая.

— Ладно. Тогда считаем от нуля. Дача закрывает несколько лет ухода. И отдельно — мой долг по декабрьской закупке, он никуда не денется.

Пальцы собрали со клеёнки крошки в одну горку и смахнули их в ладонь.

— И ещё одно посчитай. Двенадцать лет я приезжаю сюда по звонку. Отца возили в онкологию — я. Тётю Галю в Озёрное хоронить — я. У тебя родился второй внук, у Кости перелом, у мамы катаракта — звонили мне, потому что я одна без мужа и без расписания. Я на этой лестнице сапоги стоптала. Я больше не буду тем взрослым, которого достают из ящика, когда у всех занято.

— Дача обещана Косте.

— Костя.

— Да, Костя. Мама при отце ещё сказала: это внуку.

— Она много чего говорила. Она вчера сказала, что квартира соседке.

Радиатор взял тепло рывком, щёлкнул внутри, и по трубе прошёл длинный металлический вздох — воздух, который Тамара велела спускать. Звук упёрся в ступни через линолеум. Тёплая волна поднялась по голени до колена — чужая рука на коже под чулком.

— У Кости с женой двое детей, Лара. Они в однушке на Ленина, тридцать два метра, и там шестьдесят процентов дохода уходит в банк. Дача — это единственное место, куда их можно летом вывезти.

— Их можно вывезти в Анапу на эти деньги. Десять лет подряд.

— Это не одно и то же.

— Это ровно одно и то же, только Анапа не требует крышу перекрывать каждые семь лет.

Ключ повернулся снаружи — два оборота, без звонка. Тамара вошла с полной сумкой, поставила её на табурет и разбирать не стала.

— Доброе утро. Я к Сергею заходила, он в субботу не может, переносит на воскресенье.

— Тамара Ивановна, — сказала Лариса. — Сядьте, пожалуйста. Нам нужно про дачу.

Под короткой ногой табурета с того дня лежал спичечный коробок; гостя села, и коробок хрустнул в бумажном нутре. Шерстяной платок сошёл с головы на плечи.

— Про дачу я скажу. Фундамент с южной стороны просел, по углу трещина, в прошлом году была в палец, сейчас в два. Крыша новая, рубероид я купила в двадцать первом, шестьсот девяносто рублей рулон, десять рулонов. Но стропило под ней левое надо менять, оно сырое с девятнадцатого года, когда ливнем залило. Электричество отключено с осени, потому что провод от столба провис и я не хочу, чтобы там горело без людей. Колодец заплыл. Воду берут у Красновых через два дома, они разрешают.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.